ЛЕТУЧИЕ ЛОШАДИ

1

«А рубль к рупии всё-таки просел, как ни пыжился. Вровень дрейфуют, голубки́… Развивающиеся экономики, – вполголоса сказал Чаплицкий, разглядывая через открытую дверь кафе на противоположной стороне узкой улочки двузначные цифры курса индийской валюты к доллару в обменнике. – В аэропорту дают меньше», – сказал себе. А кому ещё? Больше некому. Душному индийскому космосу, кромсаемому бульдожьими мордами вентиляторов? Официанту с бутылкой пива, завёрнутой в газету, идущему к его столику? Официант как будто понял, они любят делать вид, что понимают; покачал головой, – ответил: «Нет проблем, сэр, Индия… Спиртное с семи, но проблем нет – Индия – свободная страна». Поставил на столик эту кулему и, победоносно улыбаясь, по полу, сбрызнутому водой и развезённой по углам длинным веником грязью, в сланцах на босу ногу, расслабленно, с достоинством удалился в тощий проход за конторкой. А сказать хотелось на родном всегда в первые дни в другом языковом ареале. Чаплицкий, задумываясь над этим, приходил к выводу, что, вероятно на уровне подсознания, отождествляет себя с думающей, критически настроенной частью страны, сообщающей остальному миру нечто. Носитель языка, мать вашу, Толстого и Достоевского, кровью и плотью впитавший все его светящиеся тонкости и тёмные глубины. Но закрадывались сомнения. А не снятие ли комплекса, проговаривание неуверенности, в себе, конечно же, в первую очередь? Напускание ложной значимости, в стремлении приподняться до тех же англичан, чувствующих себя везде как у себя дома, с непередаваемо небрежным ритмом на выдохе произносящих это своё «h»? Так и он, заряжая речь шипящими, вступал в позу некой исключительности: а попробуй, повтори? Англосаксам – никогда! А вот у азиатов получается. Но это быстро проходило… Судя по всему, у входа сидели тоже носители труднопроизносимых шипящих. Чаплицкий напрягся и прислушался… Да, – соотечественники. Больше говорить вслух не хотелось. Чаплицкий подраздел бутылку, освободив холодное горлышко от прилипшей к стеклу намокшей газеты, налил полный стакан и выпил. Прохлада и приподнятый градус настроения зашли в него. Он отодвинулся к стене за спину сидевшего за столиком впереди вайта, отгородившись от русскоговорящих. Вайтами Чаплицкий называл белолицых туристов. Наших и братьев по бывшему Союзу к ним не причислял. Из стран Восточной Европы тоже. Вентилятор волнами разгонял воздух. На стене трепыхался календарь с вы-  
цветшим многоруким, слоноголовым богом. Грязно-кирпичного цвета. На голове вайта вздымались лёгкие после мытья с проседью волосы. Они любят мыть голову и сбрызгиваться спреем. Чаплицкий раз в два-три дня становился под душ, если была в номере горячая вода. А что?   
А ему приятно побыть в парфюме индийских улиц. Чего скоблиться-то по нескольку раз на день? Пропитаться, пропечься Индией. Специфическими запахами, коих великое множество, как страниц в Махабхарате. «Провонять в этом отстойнике» – как сказали бы вип-персоны на Мальдивах или Сейшелах. А потом босыми ногами ступать по прохладному кафелю душевой комнаты. Успокаивающая белизна раковины, весело поблёскивающий смеситель. И сам душ как благодать с небес! Хорошо потом сидеть в плетённом из тростника кресле и просматривать в телефоне фотки за день. Тёмное пятно на газете покрыло передовицу и дотянулось до экономического блока с графиком стоимости барреля нефти. Чаплицкий перевёл взгляд на календарь, пробежавшись по датам. Работа сделана. Карандаши в длинных, узких пачках с прорисованной золотистыми линиями танцующей полногрудой, крутопопой апсарой двумя контейнерами отправлены в Россию. Осталось время, как и рассчитывал, дней десять до самолёта. Его время. Наполнил стакан, выпил. Ножки стула со скрежетом поехали по керамическим плиткам. Чаплицкий поморщился. Налил полный стакан, выпил. Вайт поднялся, накинул рюкзачок на плечо. В майке навыпуск, чёрных шароварах, зауженных книзу, султанками зовутся. Пошёл к выходу. Чаплицкий разглядел наших. Нет, не ошибся –   
по обрывкам фраз вычислил: альпинисты. «Жумары, карабины, ледовый кулуар, тропить снег». Напрасно задвинулся, нормальные мужики.   
И есть что спросить, по делу, а не праздное любопытство. И тетрадка с собой оказалась. Неслучайно это, просто так ничего не бывает. «А? Не так ли, Индия все же, а не Лазурный берег какой-то!?» – вслух сказал слегка захмелевший Чаплицкий.

Альпинисты с блестящими от вазелина губами и облупленными носами сидели за пивом. С застывшими эмоциями, вернее, обожжённым оттиском отсутствия эмоций. Бронза их выточенных, как на медали, лиц резко контрастировала с дряблыми бледными мышцами рук. На высоте теряется мышечная масса. Это Чаплицкий знал. «Михаил», – протянул руку темноволосый. «Чапа», – представился Чаплицкий, скрепив знакомство рукопожатием. За рубежом он обычно так сокращал свой нейм, избавляя себе от утомительного повторения сложно произносимой фамилии. Его так в детстве пацаны звали. И тут вырвалось. Второй, рыжий, Сергей, выглядел постарше: «Присаживайся, – выдвинул он из-за стола стул, сразу перейдя на “ты”. – Пиво будешь?» От пива Чапа деликатно отказался, но не отказал себе в любопытстве расспросить ребят, куда ходили. Да и то по большей части чтобы завязать разговор. «Нанда, – ответил Михаил – не получилось, не пустила гора». Сергей добавил, глянув на Михаила: «Надо раньше начинать и второй лагерь повыше ставить». Михаил согласился. «А-а, Нанда Деви, слышал, слышал   
про такую, знаменитая гора!» – обрадовался, что в теме, Чапа и, выждав паузу, расстегнул рюкзак, и, покопавшись в нем, вытащил на стол тонкую ученическую тетрадку. «Не могу упустить случай и не помучить вас. А вдруг узнаете это место? – Чапа быстро пролистал страницы в блекло-голубую линейку, нашёл нужный разворот, подвинул к альпинистам. – Вот, смотрите. На других страницах контуры гор везде разные, а этот дважды повторяется – здесь и на последней с обложкой». Михаил безучастно глянул на волнообразную линию гор с острыми вершинами, рисованную простым карандашом на заднем плане, а впереди – вздыбленную в пирамиду, подписанную «Меру». «Этих Меру, как прыщей у подростка», – съязвил он и передал тетрадку Сергею. «Миша не в духе, Нанда была его мечтой, но мечта откладывается до следующего раза. Давай посмотрим, – примирительно посмотрел на Михаила и Чапу Сергей и взял тетрадку – Прыщей-то всего три. Один в Индии, другие в Непале, насколько я знаю. И прыщи не простые, а золотые. Гора Меру в индийской космогонии – центр вселенной». У Михаила дёрнулась щека: «У них всё непростое, заморочнная религия… А до следующего раза дожить надо бы, да и деньги на экспу наскрести». «Тетрадка откуда, из “жюльверновской” бутылки? Ты растолкуй, что к чему, не мути воду, мы люди серьёзные на горы ходим, пустяками не занимаемся, – лукаво улыбнулся Сергей. – Зачем тебе эти Меру?». «Из чемодана», – ответил Чапа и, пока Сергей вглядывался в рисунок, рассказал, что его дед в советское время по служебной линии оказался в Гималаях, помогал строить дружественным странам гидростанции; вот и набросал горные хребты и пики. Его уже давно нет. Но тогда все бредили Америкой, Европой, Wrangler, Levi Strauss… никак не индийские джинсы. И сейчас никто ничего внятно сказать не может, но неопределённо – «где-то там». Нашёл на дне чемодана под грудой писем и фотографий. Бывает по работе в Индии, давно хотел в горах побывать, а как раскрыл тетрадку –   
проснулся дух приключений: по стопам деда пройти. Увидеть, соотнести: насколько точные глаз и рука предка? Пробовал разобраться с Меру, кое-что выяснил... «А что это за лошадка?» – перебил Сергей, проведя ногтем по краю пожелтевшей страницы, оставив белёсую линию под лошадью в облаках, с гривой расчёсанной ветром. «Не знаю, – придвинулся к столу Чапа, – я и не придал значения. Настроение разобрало, фантазии или – с натуры срисовал навьюченных на горных тропах и наверх поместил?». Сергей говорил уверенно: «Никакой натуры. Первое –   
это не гора в Индии. Индийская Меру с отвесными склонами, рельеф совсем другой. Высшая категория сложности, “шестёрка”; а на рисунке вполне доступная для любителей альпинизма в сопровождении с горными гидами. Было бы непросто сказать, какая из двух, не фотография же, по месту смотреть надо, с какой стороны срисована. Но лошадь даёт ключ к разгадке! Талунг – лошадь ветра. Помню этот впечатляющий, устремлённый к небу пик. Эта гора недалеко от Меру. Хорошо просматривается. В нашей команде, когда обследовали тот район для будущих экспедиций, мой напарник знал тибетские слова. Та – лошадь, лунг – ветер. Местные и подсказали твоему деду название, и он над вершиной водрузил лошадь. Восток Непала, на границе с индийским штатом Сикким. Тебе – туда». Посмотрел на Михаила, как бы ища подтверждения. Глаза Михаила заискрились, потеплели. Он откупорил бутылку пива и сказал Сергею: «Ловко расставил фигуры, но играет, похоже на то».   
И подмигнул Чапе: «Неси свой стакан, выпьем, чтобы тебе повезло». Чапа тоже решил ехать туда. Ещё перед поездкой в Индию. Потратил немало времени, примериваясь к склонам разных Меру на многочисленных фотографиях, выложенных в интернете. Остановился на выборе из двух. Бросил индийскую монету: выпала сторона с тремя львами, колонной императора Ашоки. Загадал, что если так ляжет, – поедет на восток Непала. А тут и лошадь оказалась неслучайно. Про деда соврал. Нет никакого деда из советского прошлого, разъезжающего по загранкомандировкам. Но чемодан есть. На антресоли, задвинутый в самый угол банками солений, с его, Чапы, тетрадями начальной школы по арифметике и русскому, исписанными фиолетовыми чернилами с красными отметками.

Липкая духота, толчея на улицах. Мокрая рубашка выделяет рельеф: хребет спины, впадины подмышек. В стирку! Завтра утром в дорогу. Но спасительный вечер! Зажигались гирлянды разноцветных лампочек и восклицательные знаки свечек в лавках первых этажей зданий, причудливой эклектики викторианского стиля с железобетонными монстрами, лишёнными всякого стиля. На домах беспорядочно висят рекламные щиты безвкусной расцветки с разноголосицей шрифтов на хинди и инглише. На мёртвых балконах и отъехавших крышах хилые, потусторонние деревца. А из проводов свили на столбах страшные гнезда. Для птенцов драконов? Как они тут разбираются, к кому что идёт? И кто где живёт? Чапа задавал себе этот вопрос всякий раз, когда попадал в эту часть старого города, но сейчас всё было просто: хотел купить на завтра связку бананов. А что он должен был говорить альпинистам: что это его детские рисунки, что изрисовывал горами тетрадь за тетрадью, никогда не видевший вживую ничего выше Пулковских высот и валдайских холмов? Как бы на него посмотрели? Да, как-то ночью на поезде проехал Урал. Вот сохранился один артефакт в чемодане школьных тетрадей, припрятанных на память родителями. А «меру», между прочим, с маленькой буквы у него. Мало ли что могло означать. И к чему присобачил лошадь, так поди разбери спустя треть века. Но альпинисты его вдохновили.

Мясные лавки держат в основном мусульмане. У них длинные бороды и длинные, до колен, рубахи, застёгнутые на все пуговицы. Они отгоняют ветошью назойливых мух от разложенных на прилавках кусков мяса, похожих на розовый мрамор и синюшных с тощими шеями цыплячьих тушек. Но, приезжая в Индию, Чапа становится веганом. Фруктовые ряды дальше, за площадью. Перейти улицу не даёт вереница мужчин. Все в сине-белых клетчатых дхоти и темных рубашках навыпуск, как братья-близнецы. Высокие. Худые. Каста продавцов? Сколько их?! Одной рукой катят велосипеды, другой поддерживают в плоских корзинах на голове непроданный товар. Такие ни слова по-английски. «Глубинные» индийцы. И с чего бы страсть проснулась у Чапы клепать такие рисунки? Далёкая генная память, вдруг взорвавшая унылую плоскость настоящего? Или все-таки он имеет к этому самое прямое отношение? Прошлые жизни? Ух-х! – если так. Он помнит, как во втором классе ходил на секцию плавания в бассейн. Ходил нехотя. С доской из пенопласта отрабатывал движение ног, наглатываясь противной водой с хлоркой. Но зато сама дорога от дома шла вдоль траншеи с высоким отвалом грунта. Прокладывали теплотрассу. Ночью выпал снег. Бесконечная горная гряда, уходящая за мрачное здание спортивного комплекса. Шёл как зачарованный, отмечая взглядом каждый взлёт снежных вершин. Это он хорошо помнит. Ясные осенние дни. Жизнь советского пионера. Никаких там сумеречных влияний из подозрительных книжек. Книжки-то были как у всех, правильные.

2

Чапа натянул капюшон куртки почти на глаза, поправил завернувшуюся лямку рюкзака, перевёл дыхание и продолжил подъем к выложенному из плоских камней дому с крышей, блестящей железными листами, придавленными тяжёлыми камнями. Приют для дошедших сюда горных туристов. Сияло выпотрошенное солнце, как подсолнух без семечек.   
А холодный ветер своими ледяными пальцами ощупывал одежду, выискивая лазейки забраться в оставшееся тепло Чапы. Брр! Пронзает до костей. Учащённо колотится сердце. Высота всё-таки. Нет, это не то место. Не катит, как ни давай волю воображению. Чапа несколько раз посиневшими от холода руками раскрывал тетрадку; вертел её и так и так, подстраивая под длинный снежный гребень с золотистым навесом тучек. Любоваться можно бесконечно, но ничего общего. И Меру вживую совсем другая. Метрах в ста Чапа приметил тропинку, идущую по склону вверх, там, похоже, есть, как говорят – view point, надо посмотреть ещё оттуда. Но сначала согреться чаем и договориться о ночлеге. Ветер бил в железо крыши, в концертных залах это называется шумовой сценой, а здесь – крышей. Пемба, то ли сын хозяина, то ли нанятый из деревни – Чапа так и не понял, – растапливал железную печку, подбрасывая сушенный ячий навоз из ведра. Тут никто не живёт, заезжают на сезон. Чапа, вытянув босые ноги к открытой заслонке, ждал, когда Пемба вскипятит чай и сварит густой суп с длинной лапшой. Носки на проволоке, высокие трекинговые ботинки обращены нутром к раскалённой буржуйке, дышат жаром. Пемба не закрывал входную дверь, напускал холод; они никогда не закрывают за собой двери. Чапа каждый раз вставал, засовывал отогретые ноги в холодные резиновые шлёпанцы и шёл закрывать. Но заходил, выходил этот Пемба, и всё повторялось. Больше в доме не было никого. Они все весёлые. Чем выше живут, тем веселее. Пемба, улыбаясь, поглядывал на Чапу, громко, с удовольствием сморкался в кулак, вытирал с ладони слизь из носа о штаны, растягивая в улыбке раскосые глаза совсем в щёлочки. Вчера, на предыдущей стоянке, Чапе на брекфаст в диннер руме попала чужая тарелка с банана поридж. Чапа заказал овсянку на молоке, без бананов, но не стал мелочиться, бананы так бананы. Съел одну ложку этой каши, как тут из-под руки с ложкой, занесённой над тарелкой, увозится тарелка китчен боем, изображающего жизнерадостный конфуз. Китчен бой берет ложку с соседнего стола, быстро заглаживает ямку в ровную поверхность и относит ничего не подозревающему вайту, заждавшемуся банана поридж. Чай с имбирём бодрит, суп погружает в тёплую дрёму, но скоро стемнеет и солнце уйдёт за горы, надо успеть подняться – а вдруг панорама оттуда сойдётся с рисунком? – ощупывал Чапа ещё сыроватые стельки ботинок. Носки высохли.

Пожар заходящего солнца, как история нашего ветхого мира, медленно сползающего с очарованием к неизбежному концу. В червонное золото одеты неприступные скальные взлёты до самых снежных шапок. Сине-черные каменистые долины расположились на восток, пустынные и нагружающие сердце, нет, не тревогой – грустью. Внизу проскочил по крыше, как электрический разряд, зигзаг блика. Ветер стих. Время остановилось. Часы не идут. Слышно, как Пемба ставит ведро на камень, вода из тонкого шланга, проложенного из бурной речки, льётся, стучит в цинковое ведро. Но что там земное! – можно услышать, как на звезде, самой близкой к нашей планете, кто-то колотит молотком, если бы там была жизнь. Чапа ещё раз прошёлся взглядом по изрезанной линии гор. Но как это далеко от его рисунка… Сунул тетрадку в карман куртки, стал спускаться. Шорох, птичий гомон за громадным камнем заставили остановиться, обойти его и заглянуть за этот осколок обрушившейся скалы. Большие черные птицы курлыкали, подпрыгивая, разметая, шумя крыльями, жёлтые лепестки цветов, и точечными звонкими ударами клевали зёрнышки риса. Цок-цок. Чапа прошёл на середину уступа неровно вымощенного булыжниками. Птицы отступили на несколько лапок, подняли головы, задвигали зрачками, наблюдая – что же дальше? Как будто посовещались между собой, не обращая внимания на постороннего, продолжили клевать рис. Цок-цок.   
А одна, с белым пятном на груди, взлетела, уселась, покачиваясь, на плечо чучела с лохматой головой, но голым торсом, вылепленным, похоже, из глины. Странное чучело сидело, поджав под себя ноги, спиной к камню, лицом к заходящему солнцу. Или – это пугало, побратавшееся с птицами? Страж горного склона? Чапа подошёл ближе, нагнулся к этому экспонату, чтобы лучше разглядеть. Глаза – тусклые стекляшки. Рот, нос, уши – то ли есть, то ли нет. Ключицы выпирают, и ребра – можно на них сыграть, как на ксилофоне. Сам горчичного цвета. В волосы (из ячьей шерсти, что ли?) вплетены цветные лоскутки раздёрганной материи. Хотел коснуться, ощутить из чего слеплен, протянул руку, но отдёрнул, как ошпаренную – живой! Экспонат шевельнулся! Померещилось? Нет! Глина задвигалась, задышала жизнью. Но лицо непроницаемо. Бомж? Нет. Бомжи в городах. Здесь и он, Чапа, как бомж. Аскет, ушедший в себя до нечувствительности ко   
всему внешнему! Чапу будто подожгло изнутри. Он вспыхнул желанием говорить с этим, на ледяном ветру в одной красной тряпке на чреслах, с этим... человеком, йогом. Не то что в городах, на площади Дурбар в Катманду, ходят тепличные, ярко разодетые и раскрашенные фейковые аскеты, от лавки к лавке, от туриста к туристу, с неизменным серебристым ведёрком для подаяния, в которое зашумит или отсыпанный рис, или зазвенят брошенные монеты. Этот – настоящий! «Намасте, таши делек», – поздоровался, поприветствовал Чапа. Ничего другого не знал. Остались английские слова. Но с этим глухо. С русскими шансов больше, шипящие всё же. Человек на ледяном ветру, будто кивнул ему, стекло глаз прояснилось, и он невразумительно прожевал какие-то слова в ответ. Нужен Пемба! Человек отвернулся, смахнул рукой птицу с плеча, и что-то ещё промычал. Нужен Пемба! Чапа подошёл к обрыву и, разглядев внизу Пембу, что-то делающего у дома, крикнул во всё горло: «Пем-ба!». Увидев, как тот поднял голову и вскинул ладонь, – энергично махнул рукой, подзывая к себе.

Пемба поднялся быстро, будто бежал по равнине. Дыхание ровное, лицо – спокойное. Опередив вопрос, так сразу и сказал: «Налджорпа». Чапа изобразил полный невруб, поморщился. «Нал-джор-па, – повторил Пемба с расстановкой, – йогин. Не мёрзнет». «И не горит», – по-русски пошутил Чапа. Пемба, как будто понял, заулыбался во всё широкоскулое узкоглазое лицо и высморкался в сторону. «Он спрашивает, что ты здесь делаешь, что хочешь найти? Туристы ходят ниже». Пемба оказался переводчиком что надо. Почтительно пригнув голову, тихо переспрашивал налджорпу, когда не понимал. «Закатом любуюсь», – придумал отговорку Чапа. Мысли, что ли, читает? И пока Пемба докладывал налджорпе, что Чапа любуется закатом, случился в Чапе внезапный переворот – не будет выспрашивать о всяких эзотерических штучках, наподобие появления в одно время в разных местах продвинутой личности, чудесно рас-  
тиражированной, реализовавшей свой духовный потенциал; а по делу –   
расскажет про тетрадку всё как на духу. Такое бывает раз в жизни. По адресу попал, то есть поднялся. Не упустить возможность. Что ответит? Так всё про тетрадку и сказал. Пемба посмотрел на Чапу с пониманием, без иронии; они, бывает, подсмеиваются над западными пенсионерами и фриками, приехавшими открывать для себя духовность Востока. Чапа улавливал эти моменты. Нет, на полном серьёзе всё похоже изложил.   
У налджорпы стекляшки заискрились, блеснули огнём. «Просит показать тетрадку», – сказал Пемба. Чапа спешно вытащил тетрадку, раскрыл в нужном месте и протянул налджорпе. Тот взял её, повертел туда-сюда мосластыми руками и, не заглянув в рисунки ради приличия, разорвал на половины. Выдрал несколько страниц – изорвал их. Чапа был ошарашен. Бросился остановить беспредел… Но – остановил себя – сам же напросился. Растерянно спросил Пембу: «Что налджорпа делает?» Пемба, поджав нижнюю губу, пожал плечами: «Рвёт твою тетрадку». Налджорпа положил рваньё у ног и приказным тоном промычал Пембе. «Сожги, – перевёл Пемба, – всё, мы можем идти».

Налджорпа удалился в себя, превратился обратно в кусок глины, стерегущий пустоту. Стая птиц с шумом, раскричавшись, взлетела; черным полукругом зависнув над ущельем. Чапа поднял лохмотья бумаги и, скомкав, уколов палец скрепкой, запихал в карман. Спускаясь, обернулся – если этот и побелеет, посинеет – то не от холода, а от света луны и звёзд.

Ветер гудел в железной трубе печки, вставленной в потолок. Чапа грел руки, открыв заслонку. Он не в состоянии был осознать случившееся. Его горы превратились в дым, улетучившийся в небо. Пемба кипятил воду в громадном алюминиевом чайнике и сочувственно поглядывал на Чапу. В перчатках двумя руками стащил чайник с плиты на пол, вздохнул и, виновато потупившись, спросил:

– Ты же помнишь свой рисунок?

– Да, конечно, перед глазами эта линия.

– Сходи в Кхамбачен. Два дня дороги через Рамтанг. Там открывается вид на этот хребет. Может быть, это оттуда.

3

– Я тебя помню. Ты был здесь. – Хозяин лоджии, домика для туристов, подошёл к Чапе. Он долго ходил вокруг да около, приглядывался, бросая цепкие взгляды, пока тот, разгорячённый дневным переходом, отдыхая на широкой скамье, вытаскивал свитер из рюкзака. А теперь обрушился:

– Был, был, у меня хорошая память – постучал пальцем по виску.

– Никогда прежде, и близко к этим местам, – отнекивался Чапа, рассматривая визитку, всученную ему. – С кем-то спутали.

Кул Гурунг, пожилой, но с прямой осанкой, в традиционной непальской пилотке, остальное – непримечательно европейское, продолжал наседать. Усы, аккуратно стриженные. Нос с горбинкой. Глаза показались бесцветными. Гурунги – народность, обитающая в основном в центре страны. А этот, настырный, прижился, обзавёлся, здесь. «Маркетинговый приём. Завлечь к себе в хвосте туристического сезона», – рассуждал Чапа, сторонясь напора, делая вид, что занят перекладкой рюкзака. Но остановился у гурунга.

В диннер руме тепло, уютно, на столах матерчатые скатерти, на сиденьях стульев мягкие подушечки, в вазах искусственные розы. Чапа единственный постоялец на сегодня, пожилая французская чета, когда Чапа распаковывал рюкзак, мазалась кремом от солнца, готовилась продолжить трек, идти дальше, обмениваясь любезностями с гурунгом. На стене фотография: бравый, молодой Кул Гурунг в армейской форме,   
в чёрном берете, сдвинутом лихо вбок. Чапа подошёл, прочитал под фотографией изречение, приписываемое индийскому маршалу: «Если кто-нибудь говорит, что он не боится смерти, то он или лжёт, или он – гуркха». Чапа слышал о гуркхах, храбрых солдатах, служащих в элитном английском и индийском спецназе. Набираются гуркхи из непальских горцев. Под фотографией, тускло поблёскивая, висел нож – кхукри. Видел такие в лавках. Выкованный из цельного куска стали, с кривым широким лезвием, заточенным с внутренней стороны. Боевое оружие.

Кул Гурунг источал самодовольство, смотрел в сторону, гордо приподняв подбородок, полуприкрыв глаза. Посвящал Чапу в славное прошлое и настоящее гуркхов: что гуркха предпочтёт смерть отступлению, что он прошёл жесточайший отбор, прежде чем был рекрутирован в английский спецназ. Воевал на Фолклендских островах и в Персидском заливе; видел королеву Великобритании, когда та с приветствием обходила их строй. Чапа ел суп с длинной лапшой, сдобренный жгучими приправами, слушал гурунга вполуха, кивал головой, а сам искал и никак не мог найти объяснения вчерашнему: ожидал всё что угодно, но только не такого бесславного конца своим детским рисункам. Что хотел этим сказать налджорпа, если вообще что-то хотел? Ночью Чапа поймал связь, дозвонился в авиакомпанию, перенёс на неделю рейс, с этой петлёй в сторону боясь не успеть. Кул Гурунг было совсем забронзовевший, немного оттаял, в лице появилась мягкость. Он посмотрел на Чапу и с усмешкой сказал, что про гуркхов ходит немало, конечно, небылиц, анекдотов, есть и хорошие. «Английский офицер, стоя перед строем гуркхов спрашивает:

– Кто из вас согласен служить в десанте? Прыгать с самолёта в тыл врага.

– С какой высоты? – интересуются гуркхи.

– С трёх тысяч футов, – удивился вопросу офицер.

Из строя вышел только каждый третий.

– И это знаменитые бесстрашные гуркхи? – саркастически улыбнулся англичанин.

– Сэр, если бы самолёт летел ниже, согласились бы все, – ответили ему».

Кул Гурунг не увидев реакции Чапы, поспешил объяснить, что наивные горцы не предполагали, что им дадут парашюты!

Но Чапа, Чапа мучительно, до тонкостей, перебирал случившееся вчера; ладно, он был готов сразу отмести однозначное, слащавое разрешение своей истории, перед которым замирают сердца, начитавшихся Лобсанга Рампы или разномастной литературы по оккультизму, восторженных старушек или неокрепшего молодняка. И даже принять нелепость своего поискового предприятия. Но в другом исполнении. То, что вытворил налджорпа, не укладывалось в голове, ожидал подобного от кого угодно, но не от мистика, практикующего в сердце Гималаев. Но всё же Чапа опирался на неоспоримую, с проставленными отметками, фактуру своей тетрадки, без всякой подгонки, притягивания за уши. Это не плод надуманной, или воспалённой фантазии. Настоящий проток реализма, без отсылания в сомнительные туманные течения. Он был в недоумении. Посмотрел на Кул Гурунга и вяло улыбнулся.

А тот расслабился, расстегнул пуговицу на воротнике рубашки и сказал, что гуркхи, да, до последней капли крови ведут бой; но, как он считает сейчас, к истинному бесстрашию это не имеет отношение, так – где-то около того. Это нелегко понять. Ему трудно объяснить, не хватает слов. Когда нечего больше терять. Он обвёл окружность в пространстве комнаты руками и глубоко выдохнул, как бы наполняя сферу, когда всего что вокруг – для тебя не существует, и ударил себя в грудь – «и тут!». А потом собрался и строго наставил Чапу, чтобы не покупал кхукри в туристических лавках. Там подделки, сталь мягкая.

4

– Эй, есть кто? – толкнул Чапа полуоткрытую дверь и прошёл в дощатый коридор. Единственная лоджия в Кхамбачене. Никого. До этого стучал; бил в колокольчик с красной ленточкой над дверью. Откинул длинную, до пола, синюю выцветшую замаранную занавеску, будто о неё вытирают руки, с вышитым бежевым символом посередине; знал, что это – «Бесконечный узел», чем-то напоминавший ему известные невозможные фигуры с нарушением логики пространства, но этот узел все-таки завязывается. Да ещё как! По ступенькам поднялся в просторную комнату. Громко откашлялся и сел за длинный стол. Похоже, в доме никого. Ему некуда больше сегодня идти. Если что, ляжет на полу, закроет себя в спальник, а завтра дойдёт, посмотрит на гребень – и быстро назад, спуск, к гурунгу – должен успеть. Комната выстужена, неуютно, пол грязный, у стола две лавки без спинок. Времянка-столовая, для бригады рабочих в полевых условиях, не хватает перечницы, из которой не выбить перец, и солонки с грязноватой солью, так бы Чапа определил; но есть отличие – на стене внушительных размеров тханка, традиционное изображение просветлённых существ. Чапа не торопился снимать пуховик, давно не топили; на столе картонка меню, оклеенная прозрачной плёнкой. Набор неизменный, но цены ползут вослед за высотой. Сложнее доставка. Залаяла собака, дверь распахнулась, вошёл невысокий, неопределённого возраста невзрачный тип, плоское лицо, клочковатая бородка, в ветровке поверх свитера, посмотрел на Чапу монгольскими глазами. Поздоровались. «Да, можно остаться, сейчас придёт Лакпа, он растопит печку; что френд будет заказывать к диннеру?» И ушёл.

Ждать пришлось долго. Коротая время, Чапа подошёл разглядеть тханку. В огненном зареве на золотистом овальном постаменте, в виде раскрытого лотоса, во весь рост – синий великан. Со зверским выражением лица, грубо говоря, натягивает красную женщину, обхватившую ногами его чресла, в страсти запрокинувшую голову. Там много чего ещё. Гирляндой обвитой вокруг туловища отрубленные головы с синюшным оттенком и черепа сияющие белизной. Под огромными ступнями синего раздавленные, как мокрицы, люди. «Демчог», – прочитал Чапа приклеенную бумажку с английскими буквами под тханкой. Демон и демоница –   
это в прямом смысле если только; но… просветлённые существа вроде.

Залаяла собака, зашёл невзрачный, за ним женщина в расстёгнутой надувной куртке, тёмном платье до пола, переднике в цветную полоску; с длинной чёрной косой во всю спину. «Повариха из той же столовой, если убрать особенности внешности», – откомментировал себе Чапа, –   
с заспанным лицом. Невзрачный принялся, хлопотать, раздувать огонь в печке, а женщина взяла со стола картонку меню, протянула Чапе и сказала: «Меня зовут Лакпа», – скользнув по нему отсутствующим взглядом.

Спал Чапа плохо, рваный сон. Ему отвели комнатку рядом со столовой. Топчан, застеленный засаленным одеялом, дохлая подушка, без наволочки. Свеча на подоконнике. Чапа сразу запалил, скатав распотрошённый фитиль; расплавил низ и приклеил к подоконнику. Всё же огонёк – будет теплее. Расстегнул молнию спальника, раскрыл его, накрылся, на голову –   
вязаную шапочку. Было не согреться, пробирало до основ его уже даже небытия. Ворочался, погружаясь в забытьё, дрёму. Грань между сном и явью – почти неразличима. Отмучившись так, в полночь проснулся, действительно проснулся – пространство комнаты – трёхмерное, предметы выпуклые, под дверью полоска света; нет, не может быть это сном. Его разбудило завораживающее восходящее пение. Высокий женский голос в безнадёжной сладости ощущения момента жизни, граничащей с лихорадочным восторгом, забирался вверх. Чапа слушал, затаив дыхание. Но теплота чувств, наполнявших голос, по мере восхождения осыпалась, как высохшая краска, в отрешённость, отдающую бесцветным оттенком. Дальше голос замирал. Вальсировал, парил, парил в безмятежности, вытягиваясь в бесконечную прямую линию – чего? жизни? или есть что-то другое? – как вдруг пение обрывалось, резко переходило в неудержимый, истерический хохот, камнепадом несущийся вниз, в жуткую бездну. И огонёк свечи, вклеенной в подоконник, Чапа чётко отмечал это, жил в аккомпанемент голосу, то вытягивался в светящуюся нить, половиня темноту, то, будто настигнутый ветром, метался в безысходности отчаянными всплесками, почти умирая. Так повторялось несколько раз. Потом голос исчез. Дверь открылась. В проёме стояла Лакпа с распущенными волосами в длинном алом халате с большими белыми пуговицами. Чапа приподнялся, оперся локтями о топчан и замер в ожидании. Тишина, не гробовая, а – здешне-вселенская; слышалась свеча, как она горит. Лакпа вошла в комнату, распахнула халат и выразительными движениями рук показала Чапе: раздевайся, снимай всё. Чапа судорожно задвигал глазами, губы пересохли. Её лицо прописано ясностью, никакой аморфности; гладкие чуть втянутые щеки, лучше – ланиты, свет очей утягивают черные зрачки. Груди дышат, с желтоватыми разводами от полыхающей свечи выточены, как из мрамора, темнеет нежнейшая ямка живота, длинные полноватые ноги, бритый лобок... Чапа пришёл в сильное возбуждение. Его… да, его лингам стал каменным, соорудив горку на плотных брюках походного покроя. Лакпа подошла, торопя жестами: «Ну, что, что задумался?» Чапа встал, снял всё, кроме рубашки, расстегнув пуговицы до последней. Говоря совсем просто, у них был секс. Лакпа подошла вплотную, обхватив Чапу руками за плечи, подтянулась и забросила ноги, взяв Чапу ими в кольцо. Освободила одну руку, взяла лингам и вставила в свои врата блаженства. Тепло, мягкое искрящееся тепло за всю прошлую настоящую и будущую жизни заполнили Чапу, не оставив ни микрона для чего другого. Чапа потерял все предыдущие размышления – и установки жизни снесло неудержимым потоком, как сметает дамбы на пути, вырвавшаяся из берегов после землетрясения горная река. Он переживал землетрясение своего тела и ума. Ничего не оставалось. Не было никак чувств, но и не сказать, что он был бесчувствен, как чурбан, нет… Не было никаких знаний. Но и не значит, что он был невменяемым идиотом, нет… Ему больше не надо было ничего достигать, стремиться, боясь не успеть, но это не означало, что он парализован инфантилизмом. Нет. В нем не было страха за своё время жизни.   
И это было счастье. А пуговицы на халате Лакпы вращались, поблёскивали мёртвой белизной черепов, а отрубленных голов видно не было, либо они были вне видимости. Но Чапе эти страхи теперь побоку: мёртвые головы и черепа – тёмные пороки, ослепительные страсти, прошлые заблуждения его ума, отрубленные им же самим мечом на пути к освобождению, это так Чапа интерпретировал ужасы тханки, в которую всматривался вчера вечером; а у него на данный момент появилась, как из ниоткуда, другая голова, и на плечах, и глаза хлопают. Внезапно, никогда бы не подумал, пришло разрешение неразрешимого ещё с отрочества задаваемого себе вопроса: можно ли представить бесконечность? Нет. Или конечность? Нет – всегда там что-то дальше. А тут пришло, свалилось – это неразрешимо, если мыслишь себя и всё остальное отдельно, черту проводишь между миром и собой, а если уничтожаешь или лучше – разоблачаешь, выворачиваешь на свет свою сущность, как тот Демчог, – и вопроса такого нет.

Чапа чувствовал себя с утра рассеянным, не в своей тарелке. Искал, находил манибелт, опять терял, перерывал рюкзак, заглядывал под топчан, кошель оказывался под подушкой. Поддевал вилкой медузу белка яичницы (заказывал же омлет), освобождая два желтка, чтобы подцепить их на хлеб. Не получалось. Проглотил глазунью как есть.

– Сколько должен за всё? – спросил невзрачного.

Тот скорчил извинительную гримасу:

– Сколько дадите.

– А кто пел ночью, или – послышалось? – положил Чапа на меню 500 индийских рупий, оставшихся с Индии.

– Лакпа, некоторые считают её медиумом, она не помнит себя в трансе; но другие говорят, что больная, сумасшедшая, – пожал плечами, выдав красноречивый жест, вскинутой раскрытой ладонью с растопыренными пальцами, означающий у них что угодно. – Она сейчас выйдет, хочет попрощаться.

Лакпа в том же, до пят, тёмном платье, переднике в цветную полоску; но чёрная с вплетённой красной ленточкой коса перекинута на грудь. Её лицо светилось застенчивой, детской улыбкой, и она протянула голубой, расшитый цветными нитками мешочек со шнурком. Затянула шнурок и сказала, что там рис и лепестки цветка, какого Чапа не понял. Сказала, чтобы имел при себе. Чапа был растроган, ему захотелось обнять её, прижать к себе крепко-крепко и так держать, не отпуская. Он обнял её, коснулся щекой её тёплых губ… Что-то сказал на прощание и медлил, не находил момента уйти. А Лакпа спохватилась, всплеснула руками и вытащила откуда-то из своего платья какой-то рулон, размотала его – цветные флажки на верёвке, с рисунком лошади, вокруг мелкий текст иероглифами.

– Это лунгта – кони ветра, ступы ими обвешаны, они на крышах монастырей и домов. – Повесь у себя в комнате.

Воздух, как алмаз, слепит и давит. Холодная острая высота горного хребта в сияющих провалах, взлётах, изломах. Шлось легко, подъем пологий. Чапа надеялся увидеть искомую панораму, хотя для него это перестало быть животрепещущей необходимостью, так ради любопытства. Он свободен от прошлого, как и от будущего, искать то и другое – что разглядывать линии жизни ладони, поводя по ним безымянным пальцем другой руки. Абсолютно бесперспективное занятие. Так Чапа понимал это сейчас. А что будет завтра, кто знает? Он, конечно, пройдёт эти последние метры, увидит хребет, и – да! – зарисует виденное, прочертит извилистую линию. Наверно – да не наверно – а точно! – положит этот рисунок в чемодан на антресоли… Чапа оторвал глаза от тропы и глянул вверх. По темно-синему небу плыли лёгкие штрихи облаков; но если добавить фантазии – увидится лошадь, летящая во весь опор, с серебристой гривой…

Чапа прибавил шаг, надо успеть вернуться к гурунгу засветло. И не забыть – как появится связь, позвонить в офис – предупредить, что задерживается на неделю. Когда он следующий раз посмотрел на небо – одна синева, а лошади и след простыл.